

П.И. Мельников-Печерский

На горах

Книга первая

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
П11

П.И. Мельников-Печерский
П11 На горах: Книга первая / П.И. Мельников-Печерский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 420 с.

ISBN 978-5-4241-1756-5

Этнограф-беллетрист Павел Иванович Мельников-Печерский, более известный как Андрей Печерский, принадлежит к плеяде выдающихся русских литераторов середины XIX века. Оригинальная творческая индивидуальность, острая наблюдательность, знание народного быта и фольклора, прекрасное владение народной речью выдвинули его в ряд значительных писателей в то время, когда в литературе блистали такие корифеи критического реализма, как А. Толстой, Н. Некрасов, М. Салтыков-Щедрин, Ф. Достоевский, И. Тургенев, А. Островский, И. Гончаров. Благодаря совершенно особому таланту, своеобразному мировосприятию он сумел отобразить в своих произведениях то, что ускользнуло от взглядов этих и многих других художников слова.

Творчество писателя настолько ярко и самобытно, что и сегодня волнует, заставляет задуматься, открывает читателю неведомые грани русской жизни позапрошлого века, показывает своеобразие характеров наших соотечественников.

ISBN 978-5-4241-1756-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© П.И. Мельников-Печерский, 2021

Павел Мельников-Печерский
На горах. Книга первая.

Часть первая

Глава первая

От устья Оки до Саратова и дальше вниз правая сторона Волги «Горами» зовется. Начинаются горы еще над Окой, выше Мурома, тянутся до Нижнего, а потом вниз по Волге. И чем дальше, тем выше они. Редко горы перемежаются — там только, где с правого бока река в Волгу пала. А таких рек немного.

Места на «Горах» ни дать ни взять окаменелые волны бурного моря: горки, пригорки, бугры, холмы, изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, логов, оврагов и суходолов; реки и речки колятся во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна¹, Свяга да Кудьма. Еще первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается. Свяга — та еще лучше куролесит: подошла к Симбирску, версты полторы до Волги остается, — нет, повернула-таки в сторону и пошла с Волгой рядом: Волга на полдень, она на полночь, и верст триста реки друг дружке навстречу текут, а слиться не могут. Кудьма, та совсем к Оке подошла, только бы влиться в нее, так нет, вильнула в сторону да верст за сотню оттуда в Волгу ушла. Не захотелось сестрицей ей быть, а дочьрю Волгиной.

Так говорят... И другие реки и речки на Горах все до единой извилисты.

Издревле та сторона была крыта лесами дремучими, сидели в них мордва, черемиса, болгары, бургасы и другие языки чужеродные; лет за пятьсот и поболее того русские люди стали селиться в той стороне. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине XIV века перенес свой стол из Суздаля в Нижний-Новгород, назвал из чужих княжений русских людей и расселил их по Волге, по Оке и по Кудьме. Так летопись говорит, а народные преданья вот что сказывают:

"На горах то было, на горах на Дятловых²: мордва своему богу молится, к земле-матушке на восток поклоняется... Едет белый царь по Волге реке, плывет государь по Воложке на камешке. Как возговорит белый царь людям своим: «Ой вы гой еси, мои слуги верные, слуги верные, неизменные, вы подите-ка, поглядите-ка на те ли на горы на Дятловы, что там за березник мотается, мотается-шатается, к земле-матушке преклоняется?»...

Слуги пошли, поглядели, назад воротились, белому царю поклонились, великому государю таку речь держат: «Не березник то мотается-шатается, мордва в белых балахонах богу своему молится, к земле-матушке на восток преклоняется». Вопросил своих слуг белый русский царь: «А зачем мордва кругом стоит и с чем она богу своему молится?» Ответ держат слуги верные: «Стоят у них в кругу бадьи могучие, в руках держит мордва ковши заветные, заветные ковши большинабольшие, хлеб да соль на земле лежат, каша, ячница на рычагах висят, вода в чанах кипит, в ней говядину янбед³ варит». Как возговорит белый русский царь: «Слуги вы мои, подите, дары от меня мордве отнесите, так ей на моляне⁴ скажите: „Вот вам бочонок серебра, старики, вот вам бочонок золота, моленьщи-

ки". На мордовский молян вы прямо ступайте, мордовским старикам серебро, золото отдайте». Верные слуги пошли царский дар старикам принесли, старики серебро, золото приняли, сладким суслом царских слуг напоили; слуги к белому царю приходят, вести про мордву ему доводят: «Угостили нас мордовски старики, напоили суслом сладким, накормили хлебом мягким». А мордовски старики, от белого царя казну получивши, после моляна судили-рядили: что бы белому царю дать, что б великому государю в дар от мордвы послать. Меду, хлеба, соли набрали, блюда могучие наклали, с молодыми ребятами послали. Молодые ребята приуоставши сели: мед, хлеб-соль поели, «старики-де не узнают».

Земли да желта песку в блюда накладали, наклавши пошли и белому царю поднесли. Белый русский царь землю и песок честно принимает, крестится, бога благословляет: Слава тебе, боже царю, что отдал в мои русские руки мордовску землю". И поплыл тут белый царь по Волге реке, поплыл государь по Воложке на камешке, в левой руке держит ведро русской земли, а правой кидает ту землю по берегу... И где бросит он горсточку, там город ставится, а где бросит щепоточку, тамо селеньеце".

Таковы сказанья на Горах. Идут они от дедов, от прадедов, и у русских людей и у мордвы с черемисой о русском заселенье по Волге преданье одно.

Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. Вдаль они не забирались, чтоб среди враждебных племен быть наготове на всякий случай, друг ко дружке поближе. Путями, дорогами — реки были тогда. И доселе только по рекам приметны следы старорусского расселенья. По Волге, по Оке, по Суре и по меньшим рекам живет народ совсем другой, чем вдали от них, — ростом выше, станом стройней, из себя красивей, силою крепче, умом богаче соседей — издавна обрусевшей мордвы, что теперь совсем почти позабыла и древнюю веру, и родной язык, и преданья своей старины. Местами мордва сохраняет еще свою народность, но с каждым поколеньем больше и больше русеет. Так меж Сурой и Окой. Ниже Сурского устья верст на двести по обе стороны Волги сплошь чужеродцы живут, они не русеют: черемисы, чувашаи, татары. И ниже тех мест по нагорному берегу Волги встретишь их поселенья, но от Самарской луки вплоть до Астрахани сплошь русский народ живет, только около Саратова, на лучших землях пшеничного царства, немцы поселились; и живут они меж русских тою жизнью, какой живали на далекой своей родине, на бережьях Рейна и Эльбы... Велика, обширна ты, матушка наша, земля свято-русская!.. Вволю простора, вволю раздолья!.. Всех, матушка, кормишь, одеваешь, обуваешь, всем, мать-кормилица, хлеба даешь — и своим, и чужим, и родным сынам, и пришлым из чужа пасынкам. Любишь гостей угощать!.. Кто ни пришел, всякому: «Милости просим — честь да место к русскому хлебу да соли!..» Ну ничего, нас не обьедят.

В стары годы на Горах росли леса кондовые, местами досель они уцелели, больше по тем местам, где чувашаи, черемиса да мордва живут. Любят те племена леса дремучие да рощи темные, ни один из них без нужды деревца не тронет; ронить лес без пути, по-ихнему, грех великий, по старинному их закону: лес — жилище богов. Лес истреблять — божество оскорблять, его дом разорять, кару на себя накликают. Так думает мордвин, так думают и черемис и чувашанин.

И потому еще, может быть, любят чужеродцы родные леса, что в старину, не имея ни городов, ни крепостей, долго в недоступных дебрях отстаивали они свою

волюшку, сперва от татар, потом от русских людей... Русский не то, он прирожденный враг леса: свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось либо оглоблю, сломить ни на что не нужное деревцо, ободрать липку, иссушить березку, выпуская из нее сок либо снимая бересту на подтопку, — ему нипочем. Столетние дубы даже ронит, ободрать бы только с них желуди свиньям на корм. В старые годы, когда шаг за шагом Русь отбивала у старых насельников землю, нещадно губила леса как вражеские твердыни. Привычка осталась; и теперь на Горах, где живут коренные русские люди, не помесь с чужеродцами, а чистой славянской породы, лесов больше нет, остались кой-где рощицы, кустарник да ёрники... По иным местам таково безлесье стало, что ни прута, ни лесинки, ни барабанной палки; такая голь, что кнутовища негде вырезать, парнишку нечем посечь. Сохранились леса в больших помещичьих имениях, да и там в последние годы сильно поредели... Лесные порубки в чужих дачах мужиками в грех не ставятся, на совести не лежат. «Лес никто не сажал, — толкуют они, — это не сад. Сам бог на пользу человекам вырастил лес, значит, руби его, сколько тебе надо».

Хлебопашество — главное занятие нагорного крестьянина, но повсюду оно об руку с каким ни на есть промыслом идет, особливо по речным берегам, где живет чистокровный славянский народ. В одних селеньях слесарничают, в других скорняжничают, шорничают, столярничают, веревки вяжут, сети вяжут, проволоку тянут, гвоздь куют, суда строят, сундуки делают, из меди кольца, наперстки, кресты-тельники да бубенчики льют, — всего не перечешь... Кроме того, народ тысячами каждый год в отхожи промысла расходится, кто в — лоцмана, кто в Астрахань на вонючие рыбы ватаги, кто в Сибирь на золотые прииски, кто в Самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходило прежде народу в бурлаки; теперь парходство вконец убило этот тяжелый и вредный промысел. И слава богу!..

Охоч до отхожих работ нагорный крестьянин, он не степняк-домосед, что век свой на месте сидит, словно мед киснет, и, oprичь соседнего базара да разве еще своего уездного города, нигде не бывает. Любит нагорный крестьянин постранствовать, любит людей посмотреть, себя показать. «Дома сидеть, ни гроша не высидишь, — он говорит, — под лежачий камень и вода не течет, на одном месте и камень мохом обрастет». Нет годного на стороне промысла — в извоз едет зимой... Не то избойну, мочену грушу да парену репу по деревням поедет менять на кость, на тряпье, на железный полум.

До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стороне побродить, что истари завелся у них такой промысел, какого, oprичь еще литовских Сморгонь, на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до тридцати медвежатным промыслом кормилось, — жилось не богато, а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних чуваш да черемис Казанской губернии, обучали их всякой медвежьей премудрости: «как баба в нетоплёной горнице угорела, как малы ребята горох воровали, как у Мишеньки с похмелья голова болит». Хаживали сергачи со своими питомцами куда глаза глядят, ходили вдоль и поперек по русской земле, заехали ли и в Немечину на Липецкую⁵ ярмарку. Истари велся тот промысел: еще на Стоглавом соборе, жалуясь Грозному на поганские обычаи, архиереи про сергачей говорили, что они «кормяще и храняще медведя на глумление и на прельщение простейших человек... Велию беду на христианство наводят»⁶. Силён, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич, а медве-

жатников извести не мог — изволил их саксонский король, а вконец погубило заведенное недавно общество покровительства всяким животным, oprичь человека. Тому назад лет с пятьдесят потешали сергачи на Липецкой ярмарке тамошний люд медвежьею пляской. Какой-то немец с лесным боярином обошелся невежливо, и снял с него Михайло Иваныч костяную шапку.

В ужас впали немцы — шутка ль? Целого подданного лишился саксонский король, а их у него и без того не ахти много. Пожалобились. Воспретили сергачам по чужим царствам медведей водить. Нипочем бы это было медвежатникам — русская земля длинна, широка, не клином сошлась, есть где лесному боярину разгуляться, потешиться. Сердобольные покровители животных вступились за Мишеньку: как, дескать, можно по белу свету его на цепи таскать, как, дескать, можно Михайла Иваныча палкой бить, в ноздри кольцо ему пронимать?.. Воспретили. В тридцати деревнях не одну сотню ученых медведей мужики перелобанили, а сами по миру пошли; все-таки — отхожий промысел.

А что в прежни времена с сергачами бывало, того не перескажешь. Но к слову пришлось рассказать, как ученых медведей пленным французам на смотр выставляли. Когда французы из московского поल्या попали на русский мороз, забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полоняников по разным городам на житье рассылали. И в Сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полоняникам не житье, а масленица, а тут подоспела и настоящая весела, честна Масленица, Семикова племянница. Сегодня блины, завтра блины — конца пированьям нет. И разговорились пленники с радушными хозяевами про то, что летом надо ждать. «Не забудет, говорят, Наполеон своего сраму, новое войско сберет, опять на Россию нагрывает, а у вас все истощено, весь молодой народ забран в полки — не сдобровать вам, не справиться». Капитан-исправник случился тут, говорит он французам: «Правда ваша, много народу у нас на войну ушло, да это беда еще невеликая, медведей полки на французов пошлем». Пленники смеются, а исправник уверяет их: самому-де велено к весне полк медведей обучить и что его новобранцы маленько к службе уж привыкли — военный артикул дружно выкидывают. Послезавтра милости просим ко мне на блины, медвежий баталион на смотр вам представлю». А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: «Это, говорит, ружейным приемам да по-егерски ползать они обучаются». Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий баталион видели. С той, видно, поры французы медведями нас и стали звать.

Чуть не по всем нагорным селеньям каждый крестьянин хоть самую пустую торговлю ведет: кто хлебом, кто мясом по базарам переторговывает, кто за рыбой в Саратов ездит да зимой по деревням ее продает, кто собирает тряпье, овчины, шерсть, иной строевой лес с Унжи да с Немды⁷ гоняет; есть и «напольные мясники», что кошек да собак бьют да шкурки их скорнякам продают. Мало-мальски денег залежных накопилось, тотчас их в оборот. И ежели по скорости мужик не свихнется, выйдет в люди, тысячами зачнет ворочать. Бывали на Горах крепост-

ные с миллионами, у одного лысковского⁸ барского мужика в Сибири свои золотые промыслы были. Теперь на Горах немало крестьян, что сотнями десятин владеют. Зато тут же рядом и беднота непокрытая. У иного двор крыт светом, обнесен ветром, платья что на себе, а хлеба что в себе, голь да перетыка — и голо и босо и без пояса. Такой бедности незаметно однако ж поблизости рек, только в местах, от них удаленных, можно встретить ее. Общинные владенье землей и частые переделы — вот где коренится причина той бедности. Чуть не каждый год мир-община переделает поля, оттого землю никто не удобряет, что-де за прибыль на чужих работать. На дворах навозу — пролезть негде, а на поле ни воза, землю выпахали; пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик, а община-мир то и дело за передел... И богатые и бедные в один голос жалобятся на те переделы, да поделывать ничего не могут...

Община!.. Зато кому удастся выбиться из этой — прах ее возьми — общины да завестись хоть не великим куском земли собственной, тому житье не плохое: земля на Горах родит хорошо.

В лесах за Волгой бедняков, какие живут на Горах, навряд найти, зато и заволжским тысячникам далеко до нагорных богачей. Только эти богачи для бедного люда не в пример тяжелей, чем заволжские тысячники. Лесной народ добродушной, проще, а нагорному пальца в рот не клади. Нагорный богач норовит из осмины четвертину вытянуть, из блохи голенище скроить.

Глава вторая

С краю исстари славных лесов Муромских, в лесу Салавирском, что раскинулся по раздолью меж Серезей и Тешей⁹, в деревушке Родяковой, что стоит под самым почти Муромом, тому назад лет семьдесят, а может, и больше, жил-поживал бедный смолокур и потом темный богач Данила Клементьев. Гнал он смолу: до десятка казанов¹⁰ в лесу было у него ставлено. Много годов работал, богатства смолою не нажил, и вдруг сразу так разбогател, что не только с муромскими, с любым московским купцом в вёрсту мог стать. Ломали лесники головы над скороспелым богатством Данилы, не могли додуматься, отколе взялось оно. Кто говорил, что клад Кузьмы Рощина¹¹ достался ему, кто заверял, что знает Данила с разбойниками, а в Муромских лесах в те поры они еще «пошаливали», оттого и пошла молва по народу, будто богатство Даниле на дуване¹² досталось. Много разного вздору говорено было, а истинной правды никто допытаться не мог.

От Андрея Поташова нажился Данила. О том Поташове вот какой сказ:

Во дни Петра Великого, посадские люди из Мурома, братья Железняковы да третий Кирилл Мездряков руду железную на Оке сыскали. Слыхали те посадские про тульского кузнеца Демидова, как наградил его царь-государь и какие богатства взял тот кузнец с непечатых еще Уральских рудников. Заявили и они про находку, и за год до смерти первый император земли на Оке им пожаловал, ставили бы там заводы железные. Не пошло муромцам во прок царско жалованье — по лесам возле Оки разбойники хозяйничали: с заряжёнными ружьями приходилось дудки¹³ копать, завод рвами окапывать, по валам пищали да пушки расставлять...

Работали кой-как, кончилось дело тем, что пропившийся рабочий изменил хозяевам и завод передал разбойникам. Разграбили они его, выжгли, валы срыли,

пушки, пищали с собой увезли... И за то благодарили бога заводчики, что головы у них целы на плечах снесли. Через много годов на место неудачливых муromцев на Оку новые заводчики приехали: два туляка, братья Андрей да Иван Родивоновы — дети оружейника Поташова. Они в четырех губерниях четырнадцать заводов по скорости поставили. Андрей дело вел. «Образ правления его считался безотчетным и необыкновенным»¹⁴. Чего не наделал он при том образе правления! Пруды заводские выкопал на диво: верст по девяти в долину, с трехверстными плотинами; по тем прудам суда под парусами у него хаживали. В каждом заводе по господскому дому поставил, и каждый дом дворцом глядел. Что было в тех домах картин, мраморных статуй, дорогих мебели, какие теплицы были при них, какие цветы редкостные, плоды, деревья... И все прахом пошло, все сгибло в омуте пятидесятилетних тяжб и в бездонных карманах ненасытной вагаги опекунов.

Поташов в короткое время скопил несметные богатства, скопил умом, трудом, неистомной силой воли, упорной стойкостью в делах, а также и темными путями. Безнаказанные захваты соседних имений, прием беглых людей, стекавшихся со всех сторон под кров сильного барина, тайный перевел тяжеловесной екатерининской медной монеты умножали богатство тульского оружейника. Кто Поташову становился поперек дороги: деревни, дома, лошади, собаки, жены, дочери добром не хотел уступить, того и в домну¹⁵ сажали. Слова супротивного молвить никто не смел, все преклонялось перед властным оружейником. Перевел Поташов разбой в лесах Муромских, но не перевел разбойников.

Подобравшись под сильное крыло неприкосновенного барина, лесная вольница по-прежнему продолжала дела свои, но только по его приказам — так говорит предание. И не было на Андрея Родивонича ни суда, ни расправы; не только в Питере, в соседней Москве не знали про дела его... Все было шито да крыто.

А все оттого, что умел с нужными людьми ладить. Ладил он сначала с князем Григорьем Орловым, во-время от него отвернулся и во-время прилепился к другому князю Григорью — к Потемкину. Одного закала были, хоть по разным дорогам шли. С Потемкиным Поташов сроду не видался, а был в дружеской переписке и в безграмотных письмах своих «братцем» его называл. Ценными подарками Таврического удивить было нельзя, зато нарочные то и дело скакали с поташовских заводов то в Петербург, то под Очаков с редкими плодами заводских теплиц, с солеными рыжиками, с кислой капустой, либо с подновскими огурцами в тыквах. Старики рассказывают, что однажды Потемкин зимой в Москве проживал; подошел Григорий Богослов¹⁶ — его именины; как раз к концу обеда прискакал от Поташова нарочный с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге никто и не видывал. При них записка Андреевой руки: «Сии ананасы тамо родятся, где дров в изобилии; а у меня лесу не занимать, потому и сей дряни довольно».

— Уважил! — на весь стол крикнул Потемкин. — Спасибо!.. Захотел бы Поташов ремень из спины у меня выкроить, я бы сейчас.

Через Потемкина выпросил Андрей Родивонич дозволения гусаров при себе держать. Семнадцать человек их было, ростом каждый чуть не в сажень, за старшего был у них польский полоняник, конфедерат Язвинский. И те гусары за пояс заткнули удалую вольницу, что исстари разбой держала в лесах Муром-

ских. Барыню ль какую, барышню, поповну, купецкую дочку выкрасть да к Андрею Родивонычу предоставить — их взять. И тех гусаров все боялись пуще огня, пуще польмя.

А когда помирал Андрей Родивоныч, были при нем две живых жены; обе вкруг ракета кустика венчаны; у каждой дети, и все какими-то судьбами законные.

— Кому покидаешь именье? — спросили умиравшего.

— Кто одолеет, — с усмешкой Андрей отвечал, и те злобные слова последними его словами были.

Затрещали, застонали заводы поташовские, дрогнуло правдой и неправдой нажитое богатство.

Тяжбы начались, опеки... Кто ж одолел? Опекуны да те еще, что вершали дела...

Таков богатырь был Андрей Родивоныч. Богатырю на подмогу богатыри бывали нужны. На иные дела гусаров нельзя посылать — их берег Поташов, а надо же бывало иной раз кому язык мертвой петлей укоротить, у кого воза с товарами властной рукой отбить, кого в стену замуровать, кого в пруд послать карасей караулить. Медные деньги переливать тоже не стать была гусарам, ходившим в мундирах службы ее императорского величества. Для того водились у Поташова нужные молодцы; на заводах они не живали, в потаенных местах по лесам больше привитали, в зимницах да в землянках.

Смолокур Данило Клементьев из таких был... Но держалось им это втайне от чужих и своих. По месяцам Данило дома своего не видывал, а когда являлся в деревню, рассказывал, что бродил по лесам, нового смоля¹⁷ разыскивал. А разжился Данила вот как... Был у него на руках мешок с золотом, не успел его передать Поташову, когда смерть застигла властного барина... Помер Андрей Родивоныч, и смолокур с тем мешком подальше от Муромских лесов убрался — в уездном своем городе в купцы записался. Покинул смолокурный промысел, зачал канаты да веревки вить, с Астраханью по рыбной части дела завел.

Трех годов на новом месте не прожил, как умер в одночасье. Жена его померла еще в Родякове; осталось двое сыновей неженатых: Мокей да Марко. Отцовское прозвище за ними осталось — стали писаться они Смолокуровыми.

Зараз двух невест братья приглядели — а были те девицы меж собой свойственницы, сироты круглые, той и другой по восемнадцатому годочку только что минуло. Дарья Сергевна шла за Мокея, Олена Петровна за Марку Данилыча. Сосватались в филипповки; мясоед в том году был короткий. Сретенье в прошено воскресенье приходилось, а старшему брату надо было в Астрахань до водополи съездить. Решили венчаться на Красну горку, обе свадьбы справить зараз в один день. Прошел великий пост, пора бы домой Мокею Данилычу, а его нет как нет. Письма Марко Данилыч в Астрахань пишет и к брату и к знакомым; ни от кого нет ответа. Пора б веселым пирком да за свадебку, да нет одного жениха, а другой без брата не венчается. Минул цветной мясоед, настало крапивное заговенье¹⁸. Петровки подоспели, про Мокея Данилыча ни слуху, ни духу. Пали, наконец, слухи, что ни Мокея, ни смолокуровских приказчиков в Астрахани нет, откупные смолокуровские воды пустуют, остались ловцам не сданные. Перед Ильиным днем прибрел к Марку Данилычу астраханский приказчик его, Корней Евстигнеев, по прозвищу Прожженный. Вести принес он недобрые. Вот что рассказывал.